

Александр Грин

**Рай**



# Александр Грин

## Рай

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=270452](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=270452)

### Аннотация

В этой «причудливо-декадентской» новелле – 3 части:

1. Богатый банкир завещал своё огромное состояние калеке без рук и ног: «местному жителю, самому молодому из всех, не имеющих означенных членов», движимый не состраданием, а ненавистью – «меряя всех по себе» и думая, что калека должен стремиться отомстить людям за их здоровье, и давая средства на эту месть...

2. Пятеро самоубийц собрались на «последний ужин». Отравленный! Банкир, Бухгалтер, Капитан, Журналист и Неизвестная Женщина. Они едят и веселятся, пытаясь не думать о скорой смерти...

3. Последняя часть новеллы – их предсмертные записки о своей прошлой жизни.

© *FantLab.ru*

# Содержание

I. Завещание	4
II. Любители хорошо поеть	11
III. Записки	23

# Александр Степанович Грин Рай

*Через некоторое время я обернулся и увидел громадную толпу, шедшую за мной... Тогда первый, которого я видел, войдя в город, сказал мне:*

*– Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы уже давно умерли?*

*В.Гюго. «Отверженные» (часть 1-я, книга VII. гл. IV).*

## I. Завещание

### 1

Перо остановилось, и банкир нетерпеливо зашевелил пальцами, смотря поверх строк в лицо бронзовому скифу. Мертвая тишина вещей, окружающих изящным обществом лист бумаги, равнодушно ждала нервного скрипа. Пишущий вздохнул и задумался.

На некотором расстоянии от его глаз, то уходя дальше, то придвигаясь вплотную, реяли призраки воображения. Он вызывал их сосредоточенным усилием мысли, соединял и

разъединял группы людей, оживлял их лица улыбками, волнением и досадой. Чужие, никогда не виданные люди эти толпились перед ним, настойчиво заявляя о своем существовании, и смотрели в его глаза покорным и влажным взглядом.

Он не торопился. Лично ему было все равно, кто наследует громадное состояние, и он тщательно перебирал различные нужды человечества, стараясь заинтересовать себя в употреблении денег. Родственников у него не было. Благотворительность и наука, открытия и изобретения, премии за добродетель и путешествия – проникали в сознание затасканными словами, не трогая любопытства и жалости. Банкир закусил губу, резко перечеркнул написанное и перевернул лист следующей чистой страницы.

Другие, насмешливые мысли подсунули ему кучу эксцентрических решений, чудачеств, прихотей и капризов. Изобретение механической вилки, улучшение породы кроликов, перпетуум-мобиле, лексикон обезьяньего языка – множество бесполезных вещей, на которые ушло бы все состояние. Но, едва родившись и кутаясь в холодную пустоту души, мысли эти гасили свои измученные улыбки: нужно было много хлопот и серьезного размышления над пустяками, чтобы завещание, составленное таким образом, получило значение документа.

Банкир сделал рукой, державшей перо, нетерпеливое движение и написал снова:

«Я, нижеподписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое состояние, движимое и недвижимое...»

Далее был тупик, в котором уныло толклась мысль, превращая последнее дело жизни в простое желание развязаться с листом бумаги. Завещать было некому, и медленно сокращалось сердце, вялое, как измученная рука. За окном румянился вечер, целуя землю, и прозрачные стекла горели золотым блеском, открывая даль, полную спокойного торжества.

Банкир стал прислушиваться к себе, улыбаясь и хмурясь, как ребенок, встряхивающий разбитую погремушку. Наклонив голову, с рассеянным и сухим лицом мурлыкал он когда-то любимые мотивы, песни и арии, но деланно звучал голос. Банкир кивнул головой; в прошлом жизнь бросала ему раны и поцелуи, их сладкая боль насакала морщины вокруг глаз, и жадно смотрели глаза. Память высыпала яркие вороха, он сумрачно смотрел в них, пораженный обилием маленьких трупов, – минувших радостей. Крошечные руки их тянулись к его лицу, гладкому и сытому лицу человека, уже смерившего глазами короткое расстояние между жизнью и смертью. Прошлое превратилось в воздух, обступило письменный стол, блеснуло в лаке шкатулок, набитых письмами, в мраморной наготе статуй, легло ковром под ногами, встало у двери и последним коротким эхом замерло в напряженной душе.

Банкир тяжело осмотрелся и медленно подверг нервы

страшной пытке насилия, но не было волнения и тревоги, злобы и нежности. Ясное, ленивое сознание кропотливо удерживало боль тоскливых усилий, отказываясь страдать без цели и идти без конца. Хлынуло тяжелое утомление, спутало мысли и заковало голову в тесный стальной обруч.

Итак, он ничего не напишет. Потом, может быть, послезавтра, многие станут удивляться неоконченным строчкам завещания, торопливо предполагая все, вплоть до желания оставить деньги правительству. Человеконенавистники обвинят его в черствости и легкомыслии, нищая добродетель создаст ему репутацию атеиста. И никто не узнает, что добросовестно, целых полтора часа он размышлял о своем завещании. Куда уйдут деньги, – ему безразлично до отвращения. Обмануть себя он не может так же, как не может отрезать себе голову. Ясное, мертвое равнодушие – последняя истина его жизни; раньше их было слишком много, этих старых, молодящихся истин с восторженными глазами. Все они бессмысленно клеветали друг на друга, как разобитые кумушки. Довольно истин и лжи, одно стоит другого.

Банкир встал и хотел выйти, но вдруг остановился, протянул руку к индусской вазе, подарку своей первой жены, и мерным рассчитанным движением сбросил на пол десятки тысяч. Огромный сосуд сверкнул в воздухе массивным, прекрасным в полудикой наивности своей узором и глухо треснул, разлетевшись в куски, как простой горшок. Банкир отбросил ногой острые черепки и вышел из кабинета.

Пустые залы, проникнутые суровым молчанием, услышали звук шагов. Плотный, неповоротливый человек, с черными волосами и желтым сухим блеском тщательно выбритого лица, шел тяжелой походкой, опустив голову.

По дороге он останавливался у каждой двери и медленно нажимал кнопки. Тотчас же, вслед за движением его руки, вспыхивало электричество, и, мигнув, разлетался мрак, уходя в стены.

Так прошел он залу за залой, почти весь отель, без размышления и улыбки. Взгляд его бегло переходил с предмета на предмет, – все здесь было слишком знакомо его утомленному вниманию. Первая зала, в которую он вступил, горела разноцветным шелком, яшмой и золотом. Пухло улыбались диваны, пестрели ковры, чинно блестело оружие; из маленьких, светлых курильниц тянулись дымки, синевя в желтизне света, и мертвая, пышная тишина кружила голову.

Следующая, круглая зала, в голубом зареве люстр, жеманно кокетничала. Живопись восемнадцатого столетия, легкая, как хоровод бабочек на весенней лужайке, скрывала стены и потолок, устроенный в виде купола. Розовые белокурые пажи, красавицы в высоких прическах и голубых туфлях, маркизы в жабо, со шпагами и лютнями, посылали друг другу обворожительные, навеки застывшие улыбки. Над ни-



ми, разбрасывая гирлянды цветов, кувыркались толстенные амуры, и мебель, полная живых изгибов, отражала матовым блеском голубой свет.

Далее тянулся ряд зал, выдержанных в бледных тонах. Бледный паркет, белые лепные украшения, изящная вольность линий, закругленность в асимметрии, прихотливость в законченности, каприз, продуманный до конца. Стремительный человеческий дух отбрасывал жизненный колорит прошлого и грезил красотой умирания, нежной, как веки ангелов, как радуга лесных паутин.

Потом яркая зелень растений спуталась над банкиром. Сверху, снизу, из многочисленных лепных консолей падали зеленые, цветущие вороха, ложась на полу и вытягиваясь струйками завитков. Пышная растительность всех оттенков; пряная сырость оранжереи; пахучая красота сада; солнце тропиков в капле воды; воздух, затканый листьями. Квадратный бассейн, выложенный розовым мрамором, блестел темной водой; отражения толпились в ее глубине под водными орхидеями, тюльпанами и розами. Горбатый, серебряный тритон купался, высунув голову, и звонкие капли текли из его пасти, колыхая мгновенным плеском дремоту воды.

Банкир рассеянно осмотрелся, новая мысль затрепетала в его мозгу, мысль, похожая на благодеяние и проклятие. Любовно, ревниво обдумывал он закипающее решение, тщательно проверив цепь мыслей с начала и до конца:

«... Яркий свет заставляет мигать; бессознательное движе-

ние. Все люди мигают. Часто мигающие тупы и подозрительны. Птицы не мигают, у них круглые, внимательные глаза. Не мигают слепые. Слепота изощряет слух. Слепые не видят, но догадываются, и это отражается на их лице. Слепых следует убивать. Слепые почти никогда не убивают себя, из жалости к себе они продолжают существовать и мстят этим так же, как и уроды, калеки – все оскорбленные с ног до головы своим духом и телом...»

Банкир отправился в кабинет, сел к столу и ровным, крупным почерком приписал следующее:

«...местному жителю, человеку, лишенному рук и ног от природы или в силу случайности; независимо от его звания, имени, общественного положения, пола и национальности; самому молодому из всех, не имеющих означенных членов – в его полное и бесконтрольное распоряжение».

Он бросил перо, перечитал написанное и в первый раз после угрюмых дней скуки рассмеялся ленивым, грудным смехом.

## II. Любители хорошо поесть

Когда все уселись и глаза каждого встретились с глазами остальных участников торжества, – наступило молчание. Замерли незначительные, стыдливо отрывистые фразы. Шевелились головы, руки, принимая то или другое положение, но не было слов, и скучная тишина покрыла черты лиц сдержанной бледностью.

Все пятеро: четверо мужчин и одна женщина, сидели за круглым торжественно белым столом, в обширной, высокой комнате. Электрический свет падал на серебро, хрусталь бокалов, цветы и маленькими радужными пятнами льнул к скатерти.

Потом, когда молчание сделалось тягостным и нервные спазмы подступили к горлу, а ноги невольно начали упираться в пол, когда неодолимая потребность стряхнуть мгновенно оцепенение возвратила живую краску лиц, – банкир сказал:

– Надеюсь, что время пройдет весело. Никто не может нам помешать. Как вы спали сегодня?

Следы бессонной ночи еще не растаяли на его желтом, осунувшемся лице, и человек, к которому относился вопрос, глухо ответил:

– Спал неважно, хе-хе... Да... Совсем плохо. Так же, как и вы.

– А вы? – обратился хозяин к женщине, сидевшей прямо и неподвижно, с пылающим от болезненной силы мысли лицом. – Вы, кажется, хорошо спали, вы розовая?

– Да... Я... благодарю вас.

– А вы? – Банкир с мужеством отчаяния поддерживал разговор. – Странно: меня это интересует. Ничего?

– Извините, – чужим, тонким голосом сказал офицер: – я буду молчать. Я не могу разговаривать.

– Хорошо, – любезно согласился банкир, – но предоставьте мне поддерживать разговор, это необходимо. Уверю вас, – мы должны говорить. О чем хотите, все равно. Мне приятно слушать собственный голос. Отчего вы так потираете руки, вам холодно?

– Хе, хе, – встрепенулся бухгалтер. – А вы заметили? Напротив, мне жарко.

– Вот меню обеда, – сказал хозяин, – надеюсь, оно удовлетворит вас...

– Все вздрогнули. – Я шучу, господа... тсс... постараюсь воздержаться. Раковый суп, например... Спаржа, утка с трюфелями, бекасы и фрукты. Скромно, да, но приготовлено с особой тщательностью. Опять все молчат. Говорите, господа!.. Говорите, господа!

– Ну, скажу вам, что я не чувствую себя, – заявила женщина. – Это не пугает, но неприятно. Нет ни рук, ни ног, ни головы... точно меня переделали заново, и я еще не привыкла упражнять свои члены. И я думаю бегло, вскользь, тупы-

ми, жуткими мыслями.

– Вот принесут кушать, – сказал бухгалтер, – и все пройдет. Ей-богу!

– У всех трясутся руки и губы, – неожиданно громко заявил офицер. – Господа, я не трус, но вот, напротив, в зеркале, вижу свое лицо. Оно совсем синее. Мы сойдем с ума. Я первый начну бить тарелки и выть. Хозяин!

Банкир поднял брови и позвонил. Лакей с наружностью дипломата бесшумно распахнул дверь, и лица всех торопливо окаменели, как вода, схваченная морозом. Фарфор, обвеянный легким паром, бережно колыхался в руках слуги; он нес кушанье, выпятив грудь, и вдруг шаги этого человека стали тише, неровнее, как будто кто-то тянул его сзади за фалды. Он медленно, трясущимися руками опустил кушанье на середину стола, выпрямился, побелел и отступил задом, не сводя круглых, оцепеневших глаз с затылка бухгалтера.

– Уходите! – сказал банкир, играя брелочком. – Вы нездоровы? Сегодняшний день в вашем распоряжении. Вы свободны. Что ж вы стоите? Что вы так странно смотрите, черт побери!

– Я...

– Я рассчитываю вас, молчать! Управляющий выдаст вам жалованье и паспорт. Вон!

Лакей вышел, и все почувствовали странное, глубокое облегчение. Краска медленно исчезла с побагровевшего лица хозяина. Он виновато пожал плечами, подумал и заговорил:

– Ушел, наконец! Не обращайтесь внимания, господа, мое последнее путешествие продолжалось так долго, что слуги забыли свои обязанности. Никто не потревожит нас. Попробуйте это вино, сударыня. И вы, капитан... Позвольте, я налью вам. Рекомендую попробовать также это, оно слегка заостряет мысли. Затем можно перейти к более буйным сортам. Вот старое итальянское, от него приятно кружится голова, и розовый свет туманит мозг. Посмотрите сквозь стекло, я вижу там солнечные виноградники Этны. Эти угрюмые бутылки не должны смущать ваше милое лицо, принцесса: под наружностью театрального злодея у них ясная и открытая душа. Я лично предпочитаю вот этот археологический ликер: вдохновенное опьянение, в котором начинает звучать торжественная и мрачная музыка. Чокнемся, господа!

Руки соединились, и стаканы вскрикнули маленьким, осторожным звоном... Вино блеснуло, точно в нем судорожно бились крошечные золотые рыбки, и разноцветные зайчики скользнули по белизне скатерти.

Журналист вынул платок, тщательно протер очки, надел их и внимательно посмотрел на жидкость. Она невинно горела перед ним в тонком стекле ровным, красным кружком. Женщина, молча, усиленно проглатывая, выпила все до последней капли; глаза ее смотрели поверх бокала, темные, ласковые глаза. Капитан выпил раньше всех. Бухгалтер нервно хихикал и потирал руки, озноб леденил его. Банкир сказал:

– Вино порядочное. Возьмите на себя роль хозяйки, сударыня!

Женщина вспыхнула и нерешительно протянула руку. Капитан отвесил ей глубокий поклон.

– Из ваших рук, сударыня?

Глаза его тяжело смотрели в растерянное молодое лицо. Девушка не нашлась, что ответить, пальцы ее выразительно пошевелились; казалось, это была просьба молчать. Только молчать. Ни слова о неизбежном. Разве не знает он, что эти руки нальют и себе.

– Позвольте вашу тарелку, – тихо сказала девушка.

Три слова брызнули ударом хлыста в перекошенные подступающей судорогой лица. Кто-то задел посуду, и мягкий звон поплыл в тишине комнаты. Стих он, и молчание сделалось шумным от быстрого дыхания обедающих. Одежда теснила и жгла тело, хотелось сорвать ее; кровь стремительно ударяла в мозг, все плыло и качалось перед глазами. Непостижимое единство ощущений спаяло всех; казалось, из сердец их протянулись слепые щупальца и цепко сплелись друг с другом. Рты с шумом выбрасывали воздух, ноги дрожали и ныли. Над столом двигались женские руки, и тарелка за тарелкой возвращалась на свое место, полная до краев.

– У вас все сильнее блестят глаза, – сказал белый, как молоко, журналист. – Вы, конторский червь, – когда вы перестанете глупо смеяться? Ведь это ужасно! У меня пропал аппетит, благодаря вам. Ну, вот, слава богу!..

Бухгалтер визгливо рыдал, уткнувшись в салфетку. Лица его не было видно, но затылок подпрыгивал, как резиновый, и все, затаив дыхание, смотрели на гладко остриженную, плясавшую от безумного плача голову. Капитан громко свистнул, он не выносил нервных людей.

И вдруг все засуетились, бесцельно, с тупым состраданием уговаривая бухгалтера. Девушка схватила его мокрую, вялую руку и, стиснув зубы, сжала изо всех сил побелевшими от усилия пальцами.

– Если вы будете плакать, – сказал капитан, – я брошу в вас хлебным шариком. Смотрите, я уже скатал. Он плотный и пробьет вам череп, как пуля.

Жалкий, убитый вид бухгалтера портил обед, и злобная жалость закипала в сердцах, полных отчаяния. Журналист гневно кусал ногти. Хозяин сказал:

– Господа, это же так естественно! Оставьте его!

– Слышите, молодой старичок? – продолжал капитан. – Я целюсь! Постыдитесь дамы! Нехорошо!

Бухгалтер поднял голову и рассмеялся сквозь слезы. Теперь он походил на маленького, загримированного мальчика, с фальшивыми бородой, морщинами и усами.

– Удивительно! – шепнул он. – Какая слабость! Простите меня!..

Снова придвинулась тишина, и чьи-то пальцы хрустнули под ее гнетом, резко и противно, как сломанные. Журналист взял ложку и стал есть, сосредоточенно, быстро, с глазами,



опущенными вниз. Когда он жевал, уши его слегка шевелились.

– Замечательный суп! – вздохнул он, придвигая тарелку ближе. – Меня огорчает то, что я ем насильно. Впрочем, – немного вина, и все уладится. А! С удовольствием вижу, что все последовали моему примеру. Я, кажется, слегка пьян. Знаете, что больше всего мне нравится в вас, сударыня? Что ваша порция съедена. Мои нервы натягиваются, в голове крылья... Безумно хочется разговаривать... И потом – вы так грациозно щиплете хлеб... Я уверен, что у меня веселое лицо. Все краснеют, работают невидимые маляры... Кто засмеется первый? Улыбнитесь, мадмуазель! Не так, это улыбка мертвеца. Улыбнитесь кокетливо! Мерси. Господа! Я как будто никогда, никогда не говорил! Представьте себе такое ощущение... Капитан, удержите ваши глаза, они подозрительно круглеют... Я, вообще, должен много сказать... Браво, господин конторщик, вы так энергично потрянули головой и вытираете губы вашей заплаканной салфеткой!.. Мне кажется, что вы ниже меня... нет, нет, не спорю!.. Я, может быть, счастлив... О чем вы думаете, хозяин?

– Слежу за собой, – отчетливо произнес банкир. – Мне весело, уверяю вас. Так вот, вдруг, ударило в голову и стало весело... Да, представьте себе. Я могу летать... Правда, неуклюже летать, но все-таки могу. Бог со мной, здесь. Я чувствую его подавляющее присутствие. Он наполняет меня. Я весь из массивного, литого золота. Все вы сидите от меня

страшно далеко.

– Вы все милые, – неожиданно ввернула девушка. – Вот вам! Боюсь я? Нет, ни капли!..

– И я! – сказал бухгалтер.

– И я!

– И я!

– И я!

– Господа!.. – крикнул капитан, прикладывая руку к груди. – Мне хочется что-то сказать вам. Но я не могу, простите!.. Братья! Есть вечность?

– Об этом подумаем завтра, – сказал хозяин.

– Он сказал – «завтра»! – подхватила девушка. – Вы слышите, господа? «Завтра»!..

– Ха-ха-ха-ха-ха!..

– Хо-хо!..

– Хе-хе-хе!.. хи-ххи!..

– Вы удивительный человек, хозяин!.. – кричал журналист. – Мы хотим кушать, слышите? Тащите нам жареного бегемота!.. Не откладывайте до завтра! Работай челюстями! Шевелись, старый отравитель, распорядись, капризник!..

Журналист ласково подмигнул хозяину и положил руки на колени, стараясь прекратить их быструю дрожь. Бухгалтер пугливо улыбался, ворочался, напевал сквозь зубы и часто вздыхал. Другой лакей принес смену блюд, поставил и удалился.

Теперь ели развязно, машинально и быстро. Взрывы хохот-

та наполняли воздух, веселая истерика трясла грудь, пылали лица, и громкий спутанный разговор сверлил уши страстными, взволнованными словами.

– Расскажите нам, – говорил банкир, обращаясь к девушке, – расскажите что-нибудь о себе... Вам есть что рассказать, вы жили так мало. Мое прошлое велико, я часто путаюсь в нем, брежу и сочиняю... Кто захотел бы жить с отчетливым до минут грузом прошлого? Слабая память – спасение человека... Он вечно переделывает себя в прошлом... Расскажите про ваш короткий весенний путь... Мне кажется, что вы еще любите молоко, парное, с запахом сена, а?..

– Я жила просто, – сказала девушка, – но прежде уберите ваши глаза, они так неприятно налились кровью... Знаете, я думаю, что я бессмертна!.. Вы слышите, какой у меня звонкий голос? Как маленький рожок. И он замолчит? Нет, тут что-то не так!.. Вот, все смотрят на меня и улыбаются. Ну, что же, господа, вы расшевелили меня! Я много болтаю... Я, может быть, даже пьяная, но я вот нахмурюсь сейчас, и вы увидите... Ах, господин журналист, знаете, вы похожи на разгоряченного петуха!.. А вы, капитан, не притворяйтесь волком, вы очень добры. Я, кажется, говорю комплименты?! Ничего не будет, я уверена в этом... То есть, я просто-таки не верю, что умру!

Покрывая ее голос, заговорил капитан, и странно тяжело были его слова, как будто держали человека за горло и сдавливали его каждый раз в конце слова, заставляя прогло-

тить окончание. И все почувствовали инстинктом, что капитан борется с ужасом, почувствовали и стали бессмысленными, как воздух, и легкими, как сухой снег. Тошнота защекотала внутренность, мозг кричал и ломился в изгибы черепа, и глухо ныл череп.

– Я облокачиваюсь на стол, – сказал капитан. – Смотрите, каков я! Я еще чувствую себя. Слышите! Помолчите... один уходит... Левой... ноги... у меня... нет... Какие мы странные... больные... несчастные... Я хорошо... понимаю... что... на лицо... мое... страшно... смотреть... Внутри... у меня... гудит... Электричество гаснет... потому что... темно. Я боюсь!.. Ваши лица... темнеют от... ужаса. О... подождите... минутку!.. Улы... байтесь, как... можно... приятнее! Во мне... тысяча пудов. Я не могу... пошевелить пальцем... Я противен себе... Я... туша... Вся... моя... одежда... отравлена... Вы...

Он умолк, тщетно ворочая коснеющим языком. Яд медленно проник в мускулы, парализовал их и последней уродливой гримасой застыл на пораженном лице. Проблеск жизни еще обволакивал вылезшие наружу глаза, но уже каждый чувствовал, что сидят четверо.

Тогда дикая волна ужаса потрясла живых и нечеловеческим воем застряла в горле бухгалтера. Он встал, теряя равновесие, упал, как срезанная трава, к ногам банкира, хватаясь непослушными пальцами за ножки стульев. Жизнь рвалась прочь из маленького тщедушного тела, и он инстинк-

тивно пытался удержать ее, усиливаясь подняться. Наконец, мрак схватил его за горло и удушил, с хрипением и вздохами.

Женское тело склонилось над журналистом, белое и мокрое. Он прогнал отвратительное оцепенение смерти и ответил бессмысленным хохотом идиота, тупо моргая веками.

– И я так? И я? – рыдала девушка. – О, мое лицо, мое красивое лицо!.. Я укушу вас!.. Они валяются на ковре, что же это?! Уйти мне?.. На воздух, а?.. Мне легче будет, а?.. Слышите?.. Слышите ли вы?!

– Я слышу ваш голос, – сказал журналист, насилу выговаривая слова. – Если это вы, та подстреленная девушка, что сидела против меня, то ступайте в гостиную и прилягте. Уйдите в другую комнату. Здесь нехорошо. Я – последний человек, которого вы слышите. Ступайте!..

Он снова погрузился в забытие и, когда очнулся, глаза его смутно припоминали что-то. Банкир сидел рядом, выпятив грудь и закинув почерневшую голову на спинку стула; руки свесились, стеклянные, незнакомые глаза смотрели на потолок.

– Вот сон! – сказал журналист. – Была еще девушка, но она ушла. Я, кажется, покрепче этих. Кто-то разбил мне голову, она болит как чудовищный нарыв. Я жив еще, что немного нахально с моей стороны. Вон под столом торчат ноги конторщика. А капитан спит крепко, – фу, как он выглядит!.. Противная штука – жизнь. Противная штука – смерть!.. Что, если я не умру?..

Липкий пот выступил на его лице; он встал и сел снова, дрожа от слабости. Мысли тоскливо путались, отравла глушила их, и хотелось смерти. Сердце металось, как умирающий человек в агонии; предметы меняли очертания, расплывались и таяли.

– Милые трупики, – сказал журналист, – я нежно люблю вас!.. Вон ту девушку мне хотелось бы прижать к сердцу... Милые мертвецы! Я люблю ваши отравленные, несговорчивые души!.. И я вру, что вы обезображены, нет!.. Вы красавицы, просто прелесть какие!.. Ну, да, вы не можете. Позвольте, мне тоже что-то нехорошо... Тошнит... Все кончено. Ничего нет, не было и не будет...

Он перестал шептать и, чувствуя приближение смерти, лег на ковер ничком, вытянувшись во весь рост. Жизнь медленно оставляла его железный организм. Журналист поворочался еще немного, ко скоро затих и умер.

Столовая опустела. Люди не выходили из нее, но ушли. Холодный электрический свет заливал стены; бархатные тени стыли в углах. Улица посылала нестройные, замирающие звуки, и ночь, прильнувшая к окнам, смотрела, не отрываясь, на красные цветы обеденного стола.

# III. Записки

## 1. Банкир

В детстве, не помню точно когда, я видел зеленые холмы в голубом тумане, яркие, нежные, только что вымытые дождем. Ласточки кружились над ними, и облака неслись вверх, дальше от потухавшего солнца. Небо казалось таким близким, – стоило взбежать на пригорок и упереться головой в его таинственную синеву.

Взбежав, я грустно присел на корточки. Небесные мельницы, выбрасывающие сладкие пирожки, оказывались несколько дальше. Равнина, застроенная кирпичными зданиями, красными и белыми, тянулась к огромному лесу, за которым пряталось вечернее небо. Я протягивал к нему руки; мои гигантские растопыренные пальцы закрывали весь горизонт, но стоило сжать кулак, чтобы убедиться в огромности расстояния. А сзади кричала нянька:

– Куда, пострел!?

Через двадцать пять лет мне стали доступны самые тонкие наслаждения, все благоухание жизни, вся пестрота ее. К человечеству я относился милостиво, т. е. допускал его существование рядом со мной. Правда, были еще повелители

жизни, богатые, как и я, но, равные в силе, мы не вредили друг другу. Я жил. Все, что я говорил, делал, думал и чувствовал в течение жизни, – было «я» и никто другой.

Я – русский, с душой мягкой, сосредоточенной, бессильной и тепловатой. Думал я мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Любил – мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Наслаждался – мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Грустил – мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато.

В молодости, отрастив длинные волосы и совершая мечтательные прогулки по аристократическим улицам, я с уныло бьющимся сердцем рассматривал зеркальные стекла особняков, завидуя и восторгаясь, мечтая и негодуя. Убожество людской фантазии поражало меня. Неуклюжие, казенной архитектуры дома, выкрашенные темными красками, чопорные и мрачные, были, казалось, приспособлены скорее для узников, чем для миллионеров. За их стенами жили механической, убитой преданиями жизнью, или неуклюжим, грубым существованием разбогатевших мещан. Круг привычек и вожелений, домашнего быта и внешнего времяпровождения укладывался в два-три готовых шаблона, из которых наиболее интересным казался тип самодура, трагический силуэт капризника без фантазии и страстной тоски.

Тем не менее я был всецело на стороне людей силы и денег. В их руках крылись возможности, недоступные для меня, очарование свободы, покой удовлетворенных желаний.



Моя комната в шестом этаже утратила неподвижность материи, и стены ее по вечерам разрушались, открывая божественные горизонты, окутанные табачным дымом. Я воздвигал дворцы и цветущие острова, строил белоснежные яхты и любил призраков – женщин, волнующих и блестящих, с неясными, но возвышенными и тонкими чувствами. Впечатления моей собственной жизни раздражали меня, как больничная обстановка – нервного человека. Природа и книги, встречи и разговоры с людьми оставляли во мне бледные следы своего ненужного прикосновения. Я хотел острого пульса жизни, взрыва наслаждений подавляющей красоты. Я думал, что сильные удары откроют выход всей полноте человека и на каждый удар впечатления я отвечу музыкой нервов, потрясением и экстазом.

Обстоятельства привели меня к исключительному богатству, а воспоминания говорят мне, что я воспринял и пережил все – мягко, сосредоточенно, бессильно и тепловато. Я не мог прыгнуть выше ушей. Я не мог сказать «убирайтесь!» самому себе, пожать эту пухлую руку энергичным, страстным пожатием и вздохнуть глубже своих собственных легких. Лет пять назад, приевшись себе до тошноты, я стал одеваться, как англичанин, брить бороду и усы и говорить по-английски. Но флегматичная самоуверенность и спокойное сознание своего достоинства остались в Англии. Я долго перебирал в памяти содержание человека: экспансивность, страстность и великодушие, отвлеченность и жадность, воз-

вышенность и непосредственность, остроту мысли и чувств, решительность и поэзию упоения. Но плакал от злобного бессилия. Нет человека. Он разбит вдребезги, и мы осколки его. Я имею все, что хотел, и даже больше, но радоваться и страдать иначе – не могу.

Женщина, которую я люблю, любит не меня, а то, что могло бы быть на моем месте – свою мечту. Я не говорил ей об этом, не осыпал ее упреками. Но часто холод, полный глубокой грусти, разделял нас, когда она спрашивала:

– Можешь ли ты любить иначе? Как юноша, немножко дикой, немножко смешной любовью?.. Бросить все для меня?.. Уничтожаться в моем присутствии?.. Трепетать от ласковых слов?..

И я отвечал ей:

– Я хотел бы любить так. Я хотел бы радоваться всему и любить все. Но я не люблю все и не радуюсь. Ты знаешь меня. У меня мягкая, не выносящая одиночества душа. И я тихо, грустно люблю тебя.

Она плотнее сжимала губы, глаза ее становились загадочными и меркли. А я ждал со страхом, что она встанет и уйдет от меня. Но смех покрывал все, ждущий, нервный смех женщины, играющей в беззаботность. И я, довольный минутой, смеялся в ответ ей искренним, облегченным смехом.

Недавно она ушла. Одиночество угнетает меня и серебрит голову. Жизнь хохочет в окно презрительно и надменно, как любовница, ласки которой не зажгли силы в теле ночного из-

бранника. Творчество ее безгранично, и жалок я перед ним с роскошным своим убожеством.

Я устал. Есть ли там что-нибудь? Если – «да», – пусть будут зеленые холмы в голубом тумане и вечерняя тишина.

## 2. Бухгалтер

Самообманы и иллюзии отрицаю. Единственная задача моей жизни была – отыскать ровную, спокойную дорожку, по которой, без особенных огорчений и без особенных удовольствий, можно пройти до конца, т. е. до конца жизни. Я привык выражаться точно, этому научила меня жизнь, такая простая и ясная.

От этой ясности я бегу, сломя голову, и, кажется, делаю хорошо. Объяснюсь. Семнадцати лет я кончил городское училище и поступил на коронную<sup>1</sup> службу. Таким образом, я сделался чиновником. Потом, в один прекрасный день, познакомился с девушкой, ныне уже моей умершей женой. Мне было холодно жить и скучно, но я целых полгода старался выставить себя перед нею чем-то вроде возвышенсовался, говорил, что не признаю любовь и прочее. Она не понимала меня. Наконец, стосковавшись, я пришел однажды домой и почувствовал себя любящим до такой степени, что на другой день явился к ней с цветами и сказал:

---

<sup>1</sup> Коронная – государственная служба.

– Будьте моей женой! Я дурак... Я вас мучил, а между тем, я люблю вас!.. К новому году мне обещали награду... Не отвергайте меня!..

Она засмеялась и поплакала вместе со мной. Мы обвенчались. Родился ребенок, и жить стало еще трудней. Я бился пять лет, залез в долги и, наконец, бросил казенное место, поступив на завод бухгалтером. Я сильно любил жену и не отказывал ей ни в чем. Раз она мне сказала:

– Помнишь? Шесть лет назад, в этот самый день, ты сделал мне предложение!

– Помню, милая, – сказал я. На самом же деле, за хлопотами и заботами давно забыл, в какой именно день это произошло. И прибавил:

– Как же я могу забыть, подумай-ка ты?!.

Она поцеловала меня, и мы пообедали в ресторане, а потом отправились в театр. Возвращаться пришлось поздно, на извозчике: ехал он страшно тихо; моросил дождь, и дул холодный, пронзительный ветер.

К вечеру другого дня я слег, захворав тифом, и пролежал в больнице три месяца, а когда выписался, – на мое место был нанят другой. Мы продали и заложили все, что могли. Дети хворали, надо было лечить их, а в квартире часто не было что поесть. Маленькая жена моя постарела за эти семь месяцев голодного отчаяния, на нее больно было смотреть. Чем мы жили и как? Грошовыми займами, случайной перепиской, унижительными долгами в мелочную лавку. А в один

промозглый весенний вечер я ходил по бульвару, красный, как кумач, от стыда, и выпрашивал подаяние. Я принес 14 копеек наличными, купив съестного, но жене промолчал, сославшись на доброту приятеля.

Наконец, грошовый, но постоянный заработок отчасти выручил нас. Правда – это было уже не то, что раньше; наша чистенькая, теплая квартира с роялем, цветами и скромными безделушками отошла в область воспоминаний, но все же мы были кое-как сыты. Занятия мои состояли в том, что я читал вслух полусумасшедшему старику романы старинных авторов. Клиент мой плакал над добродетелью и грозно сжимал кулаки по адресу злодеев. Я получал с него тридцать рублей в месяц и жил тогда в одном конце города, а старик в другом.

Жена моя умерла. И умерла от какой-то странной болезни, дней в шесть. Однажды пришла с горячей головой, глаза блестят, слабая. Я уложил ее и напоил чаем с ромом, но это не помогло. И после, на другой день, она ходила еще, но все держалась за что-нибудь – стенку, стол.

– Ну что? – говорю. – Тебе ведь нехорошо?.. Пойди к доктору.

– Нет... Это пройдет, не волнуйся, пожалуйста.

Она перемогалась три дня, слегла, и доктор, посетив нас, прописал много лекарств. Я, как сейчас, вижу его задумчивые глаза. Он не определил болезни и ушел. Через день же не стало хуже, но меня вызвали читать новый роман. Уходя

из дома, я постарался вложить в мою улыбку всю душу. На улице охватила тоска, хотелось вернуться, но я поборол себя и отправился к старику.

Человек этот уже впадал в детство и всегда приветствовал мое появление хилыми рукоплесканиями. Рот его под острым сморщенным носом растягивался до ушей, кашляя беззубым смехом. За ним неотступно ходила племянница, высушенная девушка с ястребиными глазами и жидкой прической. В тот вечер я читал плохо и невнятно, потому что со страниц книги смотрели глаза жены. Кто-то прикоснулся ко мне, я встал.

– Тут к вам пришли, – забормотала племянница. – На кухне вас спрашивают!

Я вышел и увидел жену швейцара нашего дома. Она еще мялась, потирая красные, озябшие руки, но я уже не слушал ее. Все стало ясно, пусто, колени подгибались, хотелось сказать тихо самому себе:

– Да что же это такое?..

Я побежал на улицу без шапки, в одном сюртуке, как был. Пустые улицы скрещивались и расходились, полные сумеречной белизны и желтых огней.

– Извозчик!.. – кричало мое пересохшее горло. – Извозчик!..

Ничего нельзя было разглядеть. Снег залеплял глаза, уши, сверлил шею. Я повернул в другую сторону и побежал еще быстрее. Одинокие пешеходы тонули в сумерках и в ворот-

никах шуб.

– Извозчик!.. – хрипел я. – Дорогой, голубчик!.. Извозчик!..

Снег крутился передо мной, полный лихачей, моторов, экстренных поездов... Не помню, долго ли бежал я, наконец – нашел и ослабел от радости. Он сидел на козлах, скорчившись, и крепко спал. Лошадь понуро вздрагивала, спина ее и сани белели, засыпанные снегом.

– Извозчик!.. – сказал я, стараясь сдержать голос, переходящий в крик.

– Эй, дядя!..

И дернул его за рукав. Он покачнулся, но не изменил позы.

– Извозчик!.. – плакал я. – Рубль тебе, поезжай, хорошенько, извозчик!..

Он спал, я стал тормошить его, рванул за полу раз, другой, и вот – медленно, как бы выбирая на снегу удобное место, он вывалился из саней и шумно хлопнулся вниз лицом, грузный и мягкий. Лошадь мотнула головой и замерла.

Был он пьян или мертв – не знаю, но я не испугался, не отскочил в сторону, а заскулил, как собака, и выругался. Потом долго нес свое тело, окостеневшее и разбитое, пока лошадиная морда не фыркнула мне в лицо паром ноздрей. Я сел и поехал.

Все кончилось без меня. Я застал тишину трупa, бесценного трупa. В пьяном виде я сочинил стихи и теперь помню

только одну строчку:

«Гроб ее белый...»

Как видите, жизнь моя очень проста и нет в ней ничего такого, над чем можно задуматься. Я и сам никогда не задумывался, зная, что бог и вселенная – ряд неразрешимых загадок. Я ничего не знаю. А на земле все ясно... все ясно, и поэтому нельзя жить. Из горошины, например, апельсин не вырастет.

### 3. Капитан

Я жил всю свою жизнь, господа, надеждой на что-то большое, светлое и хорошее. Но я состарился, и не было ничего, и не будет.

Так-таки совсем не было. Я даже остался холостым. Скучно, холодно, нечем жить. Тоска убивает меня. Как я живу? Доклады, рапорты, строевое ученье, маневры, карты – изо дня в день совершается убийство человека. А ведь я, действительно, надеялся, я ревниво хранил в себе жажду счастья, какого-то особенного счастья. Казалось, что вот-вот оно может придти, надо только верить. Придет, охватит своими благоухающими руками, засмеется – и я стану другим. Но у меня красный нос, маленькие, острые глаза, и мне совестно, как будто я виноват в этом. Я скучен, неразговорчив. Может ли быть счастлив человек незначительного вида и заурядных способностей? Теперь мне даже смешно.



Я не могу рассказать свою жизнь, но вот рассказ, вырезанный мною из журнала. Кто-то рассказал мне обо мне и залил краской стыда мои щеки. Как будто меня раздели. Мне стыдно не за себя, а за того, кого люди знают под именем капитана Б. Рассказ называется «Приключение». Вот он:

«Сотни романов и повестей, прочитанных фельдшером Петровым, оставили в нем неизгладимый след разнообразием и случайностью житейских комбинаций, приводящих к таким заманчивым и поэтическим финалам, как свадьба, двойное самоубийство и бегство в Америку. Он был твердо убежден в том, что, если с ним до сих пор ничего подобного не случилось, то случится, и не далее Нового года. Пока же, в ожидании неизвестного, но заманчивого будущего, Петров ходил в городскую больницу, пил, получал сорока рублевое жалованье и играл в стуколку<sup>2</sup>.

Надежды и планы, лелеемые им про себя в лекарственном воздухе приемных покоев, были весьма разнообразны и коренились в свойстве человеческой природы – забывать настоящее. В прошлом фельдшера совсем не было случаев, оправдывающих его романтические наклонности, но тем более он считал себя роковой личностью, уготованной для неожиданного и приятного взрыва скучной действительности.

И, как будто в насмешку, обстоятельства жизни тщательно берегли его особу от всяких волнений. На памяти его

---

<sup>2</sup> Стуколка – азартная карточная игра.

не было даже крошечной, случайной интриги, неожиданной встречи, поэтически сорванного удовольствия. Никогда не угрожали ему оглобли извозчика, а больные умирали на его дежурствах тихо, без воплей и бредовых эксцессов.

На четвертом десятилетии своей жизни Петров стал задумываться, хандрить, и в ночь, когда случилось непоправимое, характер фельдшера имел уже своеобразности, сократившие его жизнь и тоску.

Он только что вышел из пивной, грузный и охмелевший. Ноги скользили по тротуару, еще мокрому от весеннего дождя, и черная мгла пеленала улицу.

Вдруг, прямо против него, колыхаясь в неровном свете уличного фонаря, вынырнула женская тень. Она, должно быть, перешла дорогу, потому что появилась из мрака внезапно и тихо, как привидение. Петров суетливо посторонился, испуганный выражением ее гордого, заплаканного лица, а она прошла мимо, шурша шелковым платьем и медленно утопая в темноте высокой, стройной фигурой.

Это не была проститутка, а между тем шла одна ночью, в глухой части города, странной, нервной походкой, какая бывает у сильно возбужденных или испуганных людей. Одно-два мгновения Петров стоял неподвижно и потом мрачно двинулся вслед за женщиной, привлекаемый тайным соображением о печальных секретах и неожиданных приключениях, могущих дать, наконец, его жизни сильное и желанное течение.

Женщина шла быстро, не оглядываясь. Часто ее трепетная, легкая тень совершенно тонула в темноте, и только скрип шагов указывал фельдшеру нужное ему направление. Он стал размышлять, не следует ли подойти к ней, заговорить, но тут же испугался собственной мысли и решил просто идти до конца. В крайнем случае, могли подвернуться пьяные, оскорбить незнакомку, и его присутствие оказалось бы тогда как нельзя более кстати. Он уже размечтался и мысленно повторял еще не сказанные слова благодарности: – „Ах, я никогда не забуду этого“. – Казалось, он слышал нежный ласкающий тембр женского голоса и чувствовал в своей неловкой руке маленькую, нежную перчатку. Мысль, что он смешон, – не приходила ему в голову.

Волнение разрасталось – сентиментальное, самолюбивое волнение подвыпившего одинокого человека. Напрягая зрение и ускоряя шаги, Петров двигался по пустынной улице, обдумывая еще одно, полное благородства и достоинства соображение: проводить ее до подъезда того дома, куда она идет, и в самый последний момент остановить, сказав приблизительно, следующее:

– Прошу извинить за мою смелость, сударыня... Но вы были одни... глухое место... взволнованы... и я счел не лишним...

Она, конечно, должна понять его, если не с первого, то с пятого слова. Что же дальше? Ах, да! Легкое изумление, внимательная улыбка. Затем он выслушает ласковую благо-

дарность и уйдет, так как больше ему ничего, решительно ничего не нужно.

Улица выходила на песчаный берег, загроможденный плотами, барками, полузарытыми в песок бревнами, лодками. Различные догадки, беспокоившие фельдшера, сразу исчезли, и на душе его стало покойно и даже весело. Уверенно и торопливо погружая в хрусткий сыпучий песок свои полуистоптанные ботинки, он побежал за неизвестной женщиной, стараясь нагнать ее раньше, чем она подойдет к длинным, черным плотам, забегавшим далеко на самую середину реки, как узкие, змеевидные отмели.

Мгла, висевшая над водой, отсвечивала стальную, серебристую гладь течения, и от этого все предметы, возвышавшиеся над берегом, рисовались отчетливо, как вырезанные из черной бумаги. Женщина ступила на плот и теперь почти бежала. Петров задыхался от возбуждения, усталые ноги тяжело и неверно попадали на скользкие выскочившие из скреп бревна, темная, невидимая вода колыхалась под ним, качая потревоженный плот. Маленькие бледные звезды горели в далеком небе, и печально посвистывали сонные кулики.

Он нагнал ее у самой воды и схватил за плечо прежде, чем она почувствовала его присутствие. Потом у него осталось воспоминание о руках, поднесенных к волосам, очевидно, с целью снять шляпу. Незнакомка испугалась и стояла молча, вздрагивая, с детским страхом в расширенных, больших

глазах. Петров перевел дух и заговорил, страшно торопясь и комкая фразы:

– Я... вы... позвольте, я, кажется... Фельдшер Петров, сударыня... Сегодня такая ночь... Мне показалось, или... может быть... Простите... Если я ошибся, то... Во всяком случае... Если бы вы знали... Но... как хотите...

Волнение не помешало ему заметить, что женщина молода и красива. Голос его осекся, и он умолк, испугавшись ошибки и страшного стыда за это перед самим собой. Дама дышала глубоко и быстро, она поняла и теперь, быть может, досадовала. Но возбуждение, видимо, оставляло ее, спугнутое неподдельной тревогой добродушного, растерянного лица фельдшера. Она сказала только тихо и нерешительно:

– Уйдите...

Он понял или, вернее, по-своему растолковал, что значило это коротенькое, слабое слово. Это значило, что он здесь лишний, что он не может ничем помочь и суется не в свое дело. Петров постоял, не находя слов, трепеща от жалости к чужому горю, способному положить такой страшный и грубый конец. И тут, как почти всегда бывает в таких случаях, на помощь ему пришли слезы.

Она плакала судорожно и жалко, всхлипывая, как ребенок, и закрывая маленькими руками свое бледное, мокрое лицо. На шляпе ее вздрагивали и, казалось, плакали вместе с ней искусственные цветы. Но Петрову думалось, что она плачет не от осознанного ею в этот момент ужаса смерти и

жизни, а оттого, что он, непрощенный и неловкий, грубо вошел в ее жизнь и помешал умереть.

Тогда то, что есть в каждом человеке и просыпается только в редкие и великие мгновения контрастов, глубоких размышлений или трепетных взрывов чувства, поднялось со дна души невзрачного фельдшера и развязало его волю. Маленький и сутулый, с взлизами на висках, он был велик в эти минуты в своих клетчатых брюках и люстриновом пиджаке. Торопливые, полные страстного убеждения слова, заимствованные из романов, но прочувствованные и лелеемые сердцем, сорвались с его губ. Начал он отрывисто и нескладно, но, постепенно захваченный постоянной, преследующей его мыслью, Петров чувствовал, как исчезает перегородка, естественно разделяющая двух незнакомых, чужих людей. Она сидела, еще всхлипывая тихим, прислушивающимся к его словам плачем; а он патетически взмахивал дешевой тросточкой, нервно расстегивая и застегивая свободной рукой верхнюю пуговицу пиджака. В голосе его были просьба и умиление, восторг перед бесконечностью жизни и собственное бессилие...

– Сударыня, – говорил он, – кто бы вы ни были, конечно... Я понимаю ваше отчаяние и все такое... Жизнь сложна, сударыня, и вот главное... На каждом шагу, быть может, нас ожидают тысячи радостей, а мы и не подозреваем этого... О! Мы способны из-за минутного разочарования, из-за неудачной любви разбить себе голову, но кто и чем вознаградит

нас, если, может быть, следующий же час готовит нам как раз то, чего мы искали и не нашли? Нас ждали, может быть, радостные песни, а мы сыграли похоронный марш!.. Жизнь... жизнь, ведь это – поток, который уносит все, сударыня, все, а главное – горе... Какое бы оно ни было, сударыня, уверяю вас! Зачем же, зачем губить себя? Поверьте мне, поверьте, уверяю вас... Это – истина, не может быть иначе! Все проходит и все уходит!.. Да, вспомните Иова!.. Жизнь ведь это – мать, сударыня!.. Она ранит, она же и исцеляет... Какие неожиданные встречи, какие комбинации могут быть! Это правда, поверьте мне!.. Все в руках человека, зачем же...

Над плотами серела мгла, и ночь мчалась бесшумным, долгим полетом, скрывая мраком воду, небо, далекие черные суда и двух маленьких, слабых людей.

– Я устала, – сказала женщина. – Проводите меня. О, как я устала!..

Он шел за ней следом, сбоку, и все повторял, теперь уже печально и монотонно:

– Сударыня, поверьте мне! Подумайте только: ведь жизнь – ...

Она улыбалась и думала про себя свое, известное только ей, изредка роняя рассеянные, короткие фразы:

– Вы думаете?

Или:

– Да, да. Я так устала!

Или:

– Да, конечно...

У ворот каменного двухэтажного дома они расстались...

В руку его легла маленькая, упругая перчатка, и он услышал:

– До свидания!.. Вы были очень добры!

Придя домой, фельдшер зажег лампу и просидел до утра, бесконечное количество раз повторяя слова, сказанные там, на плоту. В момент возбуждения так ярко, так прекрасно было то, во что он верил: судьба – неожиданная капризная и ласковая. И так уныло глядела теперь из четырех углов его собственная одинокая скука.

Он подошел к стене. Маленькое зеркало безжалостно отразило сорокалетние морщины, лысину и заметное, мирно круглившееся, брюшко.

Потом, уже спустя много времени, кто-то пустил слух, что он отравился, заразившись скверной болезнью и потеряв надежду на выздоровление. Но это неверно. Опровержением служит собственноручно им оставленная записка, где сказано ясно и просто: „В смерти моей прошу никого не винить“.

Брат его, приехавший получить наследство, нашел немного: ситцевый диван, этажерку с книгами и набор врачебных инструментов. Это было все, что подарила Петрову жизнь».

Я узнал себя. Нет у меня никаких надежд, а умру я сейчас или после – все равно.



## 4. Журналист

Послушайте-ка, эй вы, двуногое мясо! Не желаете ли полпорции правды?

Отвратительно говорить правду; гнусно, она мерзко пахнет. Впрочем, не волнуйтесь: может быть, то, что для меня ужас, для вас – благоухание. С какой стороны подойти к вам? Как проткнуть ваши трупные тела, чтобы вы, завизжав от боли, покраснели не привычным для вас местом – лицом, а всем, что на вас есть, включительно до часового брелока? Жалею, что, убивая себя, не могу того же проделать с вами. Прочитав это, вы скажете: «Человек рисуется». Конечно. Да. Я пользуюсь своим уничтожением для полного восстановления своей личности, желая собрать себя на протяжении всей своей жизни в ее одном полном и тоскливом результате – ругательстве. От души и от чистого сердца примите мое проклятие.

Я – дитя века, бледная человеческая немочь, бесцветный гриб затхлого погребца. Лирически завывая, скажу: «И я хотел многого, о, братья! И я стремился помочь вам освободиться от свиного корыта. Поняв вашу истинную природу, звонко хохотал в продолжение пяти лет. Срок довольно порядочный для того, чтобы, обдумав ваше и свое положение, сказать вам: „Покажите мне честного человека!“»

Не конфетно-напомаженную личность, а просто-таки

честного человека, который отвечал бы за свои поступки. Покажите мне чистое сердцем человеческое животное, большого ребенка с твердой волей и одной прямой, как стрела, мыслью, без уверток и драпировок, без спрятанной про запас правды и механической лжи; покажите мне это чудовище, и я буду жить слепо, без разговоров, уверовав во все сказки о будущем. Ваши лживые лицевые мускулы скрывают слишком много такого, что нужно скрыть. Бойтесь правды! Ложью держится мир, благословляйте ее!

Право на ненависть! Признайте за человеком право на ненависть! Возненавидьте ближнего своего и самого себя. Будьте противны себе, разбейте зеркала, пачкайте себя, унижайте; почувствуйте всю мерзость, весь идиотизм человеческой жизни, смейтесь над лживыми страданиями; обруштесь всей скрытой злобой вашей на надоевших друзей, родственников и женщин; язвите, смейтесь, с благодарностью принимайте брань. Ненавидя, люблю вас всей силой злобы моей, потому что и я такой же и требую от себя больше, чем можете потребовать вы, Иуды! Властью умирающего осуждаю вас: идите своей дорогой.

«Все стройно, все разумно», – говорят некоторые господа, а я говорю: идиотизм. Если вы мне не верите, – возьмите книгу «Хороший тон»; там вы узнаете, как легко заслужить презрение окружающих, разрезав рыбу ножом. Или попробуйте рассказать вашей жене все, что думаете в течение дня. Или прочтите в газете о бородатой скотине, изнасиловавшей

пятилетнюю девочку.

Ухожу от вас. Скверно с вами, нехорошо, страшно. Неужели вам так приятно жить и делать друг другу пакости? Слушайте-ка, мой совет вам: окочурьтесь. И перестаньте рожать детей. Зачем дарить прекрасной земле некрасивые страдания? Вы подумайте только, что рождается человек с огромной и ненасытной жадой всего, с неумолимой потребностью ласки, с болезненной чуткостью одиночества и требует от вас, давших ему жизнь, – жизни. Он хочет видеть вас достойными любви и доверия, хочет царственно провести жизнь, как пишете вы в изящных, продуманно лживых книгах; хочет любви, возвышенных наслаждений, свободы и безопасности.

А вы, на мертвенно-скучных, запачканных клопами постелях, издевательством над любовью и страстью творя новую жизнь, всей темной тучей косности и ехидства встаете на дороге вечно рождающегося человека и плюете ему в глаза, смотрящие мимо вас, поверх ваших голов, – в отверстие небо. И, бледнея от горя, человек медленно опускает глаза. Окружайте его тесным кольцом, вяжите ему руки и ноги, бейте его, клеветайте, оскорбляйте его в самых священных помыслах, чтобы лет через десять пришел он к вам в вашем образе и подобии глумиться над жизнью. Перестаньте рожать, прошу вас.

Подумайте, как будет хорошо, когда вы умрете. Останутся небо, горы, степи, леса, океаны, птицы, животные и насе-

комые. Вы избавите даже их от кошмара своего существования. И дрозд, например, будет в состоянии свистнуть совершенно свободно, не опасаясь, что какой-нибудь дурак передразнит его песню, простую, как свет.

В смерти моей прошу никого не винить.

Я написал много, но сжег. Все люди достойны смерти, и противно жить, господу.

## **5. Женщина неизвестного звания**

Мне хочется рассказать о себе так, чтобы этому все поверили. Я состарилась; мне всего 23 года, но иногда кажется, что прошли столетия с тех пор, как я родилась, и что все войны, республики, эпохи и настроения умерших людей лежат на моих плечах. Я как будто видела все и устала. Раньше у меня была твердая вера в близкое наступление всеобщего счастья. Я даже жила в будущем, лучезарном и справедливом, где каждый свободен и нет страдания. У меня были героические наклонности, хотелось пожертвовать собой, провести всю жизнь в тюрьме и выйти оттуда с седыми волосами, когда жизнь изменится к лучшему. Я любила петь, пение зажигало меня. Или я представляла себе огромное море народа с бледными от радости лицами, с оружием в руках, при свете факелов, под звездным небом.

Теперь у меня другое настроение, мучительное, как зубная боль. Откуда пришло оно?.. Я не знаю. Говорят, что чем

больше человеку лет, тем он более становится равнодушным. Это правда. Я сама знаю одного такого, он мне приходится дальним родственником. В молодости это был крайний, теперь ему тридцать лет, и он говорит о стихийности, повинующейся одним законам природы. Он домовладелец. Прежде из меня наружу торчали во все стороны маленькие, острые иглы, но кто-то притупил их. Я начинаю, например, сомневаться в способности людей скоро завоевать будущее. Многие из них кажутся мне грязными и противными, я не могу любить всех, большинство притворяется, что хочет лучшего.

Как-то, два года назад, мы шли целой гурьбой с одного собрания и молчали. Удивительное было молчание! Это было ночью, весной. Какая-то торжественная служба совершалась во мне. Земной шар казался круглым, дорогим человечком, и мне страшно хотелось поцеловать его. Я не могла удержаться, потому что иначе расплакалась бы от возбуждения, сошла с тротуара и поцеловала траву. Все бросились ко мне и долго смеялись, и за то, что они смеялись, а не пожали плечами, я сказала:

– Кто догонит меня?..

Теплый ветер бил мне в лицо, я бежала так быстро, что все отстали. Потом катались на лодке, а мне все время было смешно, казалось, стоит проколоть шпилькой любого – и из него сейчас потечет что-то, чем он переполнен. Мне приятно вспоминать это. Потом я любила. Мы разошлись ужасно глупо: он хотел обвенчаться и показался мне мещанином.

Теперь он за границей.

А что будет дальше? К тридцати годам станет ужасно скучно. Я и теперь старая, совсем старенькая, хотя у меня молодое лицо. Я так много жила и благодаря опыту научилась понимать людей. Я знаю их хорошо, о! Они все измучены. Они все хотят настоящего, а здесь я бессильна. А будущее как-то перестало стоять на своем месте, оно все перемещается вперед.

Еще и теперь бывают у меня редкие минуты, особенно утром, когда отдернешь занавеску. Вдруг кровь засмеется, и жадно смотришь на все зеленое, вымытое солнцем, и кажется, что если бы пришел кто-нибудь и сказал:

– Вы царица!

Я сказала бы:

– Да.

Или сказал бы:

– С неба упал слон!

Я тотчас бы ответила:

– Конечно.

Потом напьешься чаю иходишь в обычную колею. Я уже не та. Я треснула. И я не хочу через пять лет равнодушно читать газеты, ходить в театр, не забывая, что передо мной актеры, заботиться о прическе и грустить, только улыбаясь прошлому. Это ужасно, что живут другие люди старше тебя, и ты отражаешься в них.

Тот хрустальный город, где жили бы в будущем, обнесен

высокими, молчаливыми стенами. Мне не переступить их. Чего хочу я? Какой-то сжигающей, вечной радости, света от розы-солнца, которой нет нигде и не будет. Перед ней меркнет все, и я стою в темноте, гордая своим желанием. Я умру, зная, что не переставала хотеть.